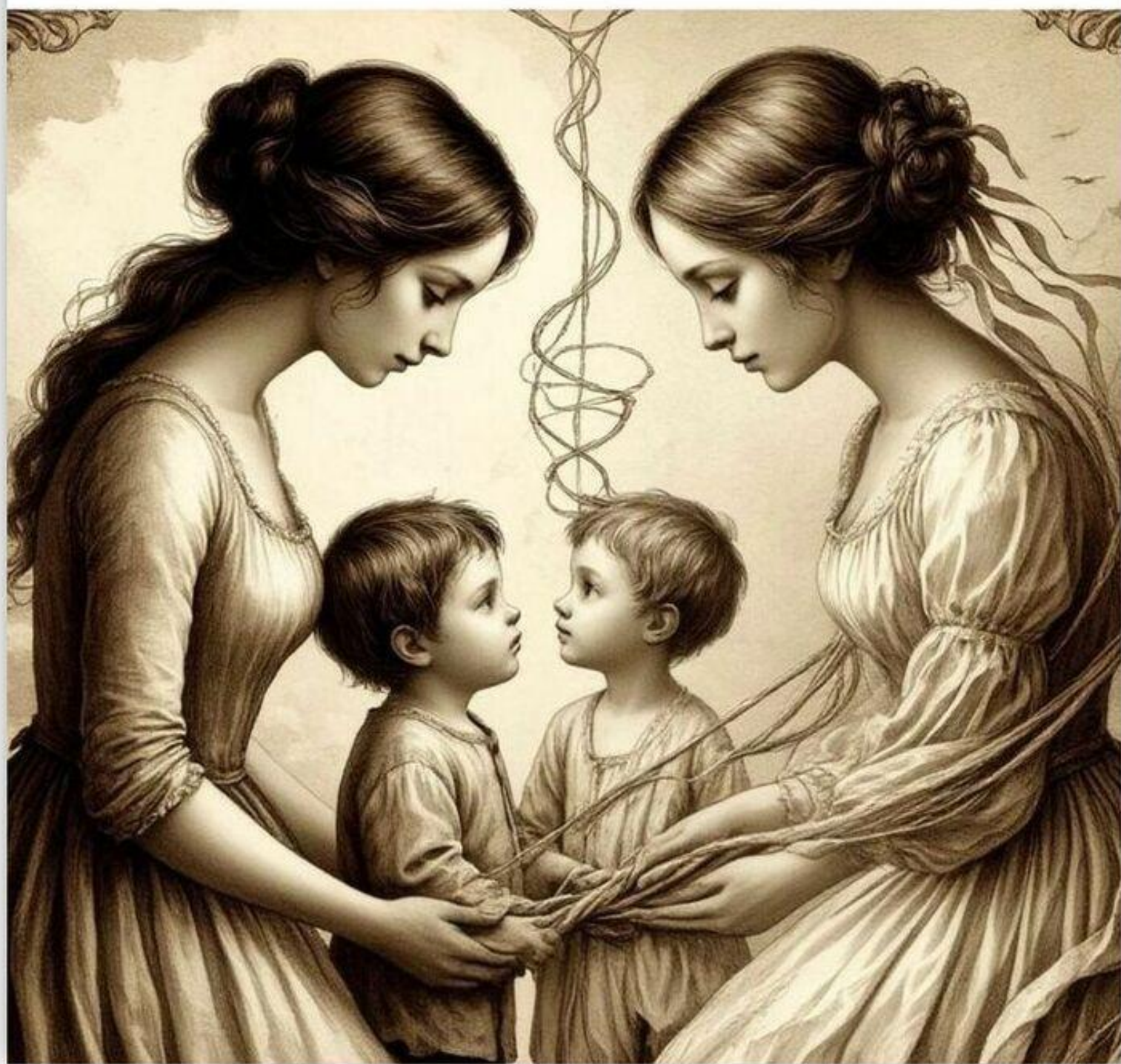


18+

Марро Чу

Пока ты слышишь

Истории географии судеб



Марро Чу

**Пока ты слышишь.
Истории географии судеб**

«Издательские решения»

Чу М.

Пока ты слышишь. Истории географии судеб / М. Чу —
«Издательские решения»,

Они прожили две жизни, чтобы понять одну истину: любовь — это не жертва.
Это обмен. Мать и дочь. «Дважды рожденные» — история о том, что связь
матери и ребенка не заканчивается со смертью. Она лишь меняет форму.

© Чу М.

© Издательские решения

Содержание

Марро Чу	6
ЦИКЛ ПЕРВЫЙ	8
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Пока ты слышишь Истории географии судеб

Марро Чу

© Марро Чу, 2026

ISBN 978-5-0071-1439-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Марро Чу

ПОКА ТЫ СЛЫШИШЬ

ИСТОРИИ О ГЕОГРАФИИ СУДЕБ

Год издания 2026 год, возрастное ограничение 18+

Посвящается всем родителям и детям...

Мать и ребенок. Это связь, которая не начинается с рождения и не заканчивается смертью.

Прежде чем начать.

Есть истории, которые не умещаются в одну жизнь.

Они начинаются не с первого слова и не заканчиваются последним. Они прорастают сквозь время, невидимые глазу, но держащие весь ствол. Они связывают людей, которые, казалось бы, не связаны ничем, кроме случайного совпадения. Но случайностей не бывает. Бывают встречи, назначенные задолго до того, как мы научились помнить.

Эта книга — о двух душах. Это не история о наказании. Это история о возвращении.

О том, что любовь не заканчивается со смертью. Что она ищет новые тела, новые голоса, новые роли, чтобы продолжить себя. Что мы приходим в этот мир не для того, чтобы просто жить, а чтобы узнавать. Себя — в других. Других — в себе.

Ты, читающий эти строки, — тоже часть этой истории.

Не пугайся.

Это всего лишь память.

Та самая, что глубже времени.

Переверни страницу. История уже началась — задолго до тебя.

Пролог

Ты, читающий это, — ты тоже внутри петли. Просто ты ещё не знаешь об этом. Вглядишься в лица тех, кто рядом. Кто из них носит твой старый крест? Чью боль ты обещал взять себе — и взял, но не узнал, потому что боль пришла в другом обличье?

Слушай. Слушай тишину между словами. Это и есть акт творения. Не в начале мира. А в начале каждого выбора. Условного выбора.

Ты — выбираешь прямо сейчас.

Акт творения

Мифология мира

Они не знают этого. Ни одна из них не помнит.

Но там, где время течёт не вдоль, а вглубь, — там, где души плетут свои коконы из непрожитого света, — там эта история началась задолго до шкафа, до лаванды, до первой монеты, упавшей на стол.

В первой жизни они не были матерью и дочерью. Они были двумя сёстрами. Или двумя возлюбленными. Или двумя странницами, встретившимися на пыльной дороге и не узнавшими друг друга. Этого никто не помнит. Это не имеет значения. Значение имеет только одно: одна из них не смогла защитить другую.

Как это случилось — уже не важно. Болезнь, несчастный случай, чужая рука с ножом, собственная рука, дрогнувшая в решающий миг. Мир полон способов отнять жизнь у того, кого любишь. Мир — это мельница, перемалывающая плоть в муку, и никто не выходит из неё целым.

Та, что не смогла защитить, стояла на коленях у тела той, которую не спасла, и кричала. Не в голос — голос

кончился. Она кричала всем своим существом, каждым нервом, каждой каплей крови, которая ещё текла в её жилах. Это была мольба — не о спасении, нет, о спасении молить было поздно. Это была мольба о перемене участи.

— Забери моё, — говорила она, сама не зная, к кому обращается: к Богу, к пустоте, к тому тёмному теплу, из которого вышли все души и в которое все души вернутся.

— Забери моё тело, мои ноги, мой голос. Отдай ей. Пусть она ходит. Пусть она говорит. Пусть она живёт. А я — я понесу её боль. Я возьму её немоту. Я возьму её неподвижность. Поменяй нас местами. Дай мне её крест.

Мироздание услышало.

Но мироздание не знает милосердия. Оно знает только равновесие. Оно как вода: если в одном месте убыло, в другом должно прибыть. Если одна душа просит обменяться крестами — что ж, так тому и быть. Но форма обмена будет не та, о которой просили.

Потому что простая мена — «ты мне, я тебе» — ничего не исцеляет. Она только повторяет рану в зеркальном отражении. Чтобы разорвать круг, нужно не обменяться болью, а прожить её. Прожить дважды. В обе стороны.

И вот — механизм запущен.

ЦИКЛ ПЕРВЫЙ

Глава 1.1 Колыбель

Рождение (~1740 г.)

Повитуха ушла, и в комнате остались только запахи

— сырой крови, ржаной муки, застарелого дыма из очага и чего-то ещё, сладковатого, почти гнилостного: так пахнет тело, только что вытолкнувшее из себя другую жизнь. Одиль лежала на смятых простынях, мокрых от пота и околоплодных вод, и смотрела в потолок, по которому, точно трещина, ползла муха.

Младенец не кричал.

Он лежал у неё под боком, завернутый в грубую тряпицу, и издавал звук — не плач, не хныканье, а тонкое, монотонное гудение, похожее на то, как осенняя муха бьётся о стекло. Тельце его было странно выгнуто — не домиком, не калачиком, а как-то неестественно, дугой, словно невидимая рука сжимала позвоночник в кулак. Ручки сжаты в крошечные кулачки, но не в младенческой судороге, а в той, что бывает у стариков, когда они цепляются за одеяло в последний час.

Одиль повернула голову. Движение отозвалось болью в паху — там, где ещё час назад рвалась плоть, выпуская это тельце на свет. Она смотрела на ребёнка долго, очень долго, и муха на потолке остановилась, словно тоже смотрела.

— Значит, так, — сказала Одиль вслух, и голос её был хриплым, как у человека, который кричал, а она кричала, ох, как она кричала, пока повитуха давила ей на живот грязными руками и бормотала молитвы пополам с ругательствами. — Значит, так.

Она не знала, к кому обращается. К Богу? К матери? К самой себе, девятнадцатилетней, оставшейся без мужа, без денег, без молока в груди, которое всё ещё не приходило? Или к этому существу, что гудело рядом и не открывало глаз — а может, и не могло открыть, кто знает, кто разберёт в этом полумраке?

Соседки уже шептались. Одиль слышала их сквозь тонкую стену — не слова, а сам ритм перешёптывания, похожий на скребущихся мышей. «Порченная», — шептали они, и это слово просачивалось сквозь щели в досках.

«Бесноватая». «Грех родителей». Они всегда так говорили, когда рождалось что-то не такое, как положено. Когда младенец не орёт, а гудит, как шмель в банке. Когда тельце его выгнуто дугой, точно он уже сейчас пытается уйти обратно — туда, в темноту, в тепло, в небытие.

Одиль приподнялась на локте. Боль прострелила поясницу, но она сжала зубы — она уже училась сжимать зубы, этот навык пришёл сам, вместе с кровью и плацентой, которые повитуха вынесла в ведре, даже не помыв рук.

— Ты не бес, — сказала она младенцу. — Ты моя.

Она протянула руку — пальцы дрожали, но не от слабости, а от той решимости, что приходит к зверю, загнанному в угол. Она коснулась крошечного кулачка. Пальчики были холодными, но сжались вокруг её указательного пальца с неожиданной, отчаянной силой. Так хватаются за ветку над пропастью. Так держатся за единственное, что осталось.

— Если ты не сможешь ходить, — продолжала Одиль, и голос её стал ниже, спокойнее, словно она читала псалом, сочинённый прямо сейчас, для этого случая, для этой ночи, — я буду твоими ногами. Если ты не сможешь говорить, я буду твоим голосом.

Муха на потолке сорвалась и улетела в темноту. Младенец всё гудел — тонко, монотонно, бесконечно. Но теперь Одиль слышала в этом гудении не жалобу, а что-то иное. Странное, нечеловеческое, но другое.

Она легла обратно, не отпуская крошечного кулачка. Завтра нужно будет найти молоко — может, у булочницы, у той, что родила месяц назад и ходит с налитой грудью, как с двумя буханками. Завтра нужно будет придумать, чем платить за комнату. Завтра нужно будет ответить соседкам

— не словами, а просто выйти и посмотреть им в глаза, и пусть попробуют сказать про «бесноватую» ещё раз.

Но это всё — завтра.

А сейчас Одиль закрыла глаза и слушала гудение. Оно становилось тише, спокойнее, словно младенец понял. Словно он услышал. Словно он поверил.

— Вот и хорошо, — прошептала Одиль в темноту. — Вот и славно.

За стеной перестали шептаться. Ночь накрыла город

— Лион, Женеву, неважно, все города пахнут одинаково: дымом, кровью и страхом. Но в этой комнате, на мокрых простынях, впервые за много часов запахло чем-то ещё. Может быть, лавандой. Может быть, надеждой. А может, просто теплом двух тел, прижавшихся друг к другу в темноте.

Запись первая.

Говорят, когда приходит беда — она приходит как вода или воздух, быстро заполняя собой всё. Но мне кажется, это не так. Беда не приходит. Она обнажается. Как сухая земля проступает из-под ушедшей воды, так и она — вдруг обнажается под тобой, и ты видишь то, что было всегда, просто раньше это скрывала повседневность.

Повитуха сказала: «Не жалец». Соседки шепчут:

«Бесноватая». А я смотрю на неё — на эти скрюченные

пальчики, на этот выгнутый позвоночник, на глаза, которые даже не открываются, — и думаю: вот оно. Вот моё. Не такое, как у всех. Не такое, как я мечтала. Но моё.

Страшно? Да. Страшно так, что воздух в горле застревает. Страх — он как вода в подвале: прибывает, а ты черпаешь. Буду черпать. Буду носить её на руках, пока руки есть. Буду слушать её гудение, пока уши слышат.

Я не знаю, за что мне это. Может быть, и не «за что». Может быть, просто — «вот». Может быть, Бог решил: эта справится. Или не Бог. Или никто не решал, а просто так вышло, и теперь есть я, есть она и есть эта ночь.

И этого достаточно.

Я смотрю на неё — на это странное, выгнутое тельце

— и не чувствую того, что, говорят, должна чувствовать мать. Нет ни радости, ни умиления. Только странный, почти несвойственный мне покой. И тишина. Та тишина, в которой я вдруг понимаю: страх, завтрашний день, соседки

— это всё где-то там, за стенами, а здесь, в этой комнате, есть только мы. И то, что между нами — не проклятие. Это тихая вода. Она просто есть, и мне незачем от неё бежать.

Я не могу изменить её тело. Я не могу сделать её здоровой. Но я могу сделать её своей. И я делаю. Прямо сейчас, в эту минуту, я беру её в свою жизнь — не потому что дом без углов, а потому что он наш.

Принимаю. Вот она, вот я. Мы вместе. Остальное —
завтра.

Одиль.

Глава 1.2 Безопасность

Элиз, 0—5 лет

Комната была не комнатой даже — а невидимой частью дома, то ли бывшей кладовкой, то ли чуланом, который кто-то когда-то пристроил к лестничному пролёту и забыл. Стены сочились сыростью круглый год: зимой — ледяной, пробирающей до костей, летом — тёплой и липкой влагой. Окно имелось — узкое, под самым потолком, забранное мутным стеклом в свинцовом переплёте. Солнце заглядывало сюда всего на час в день, но и тот час Одиль ловила, как ловят монету, упавшую в щель между половицами: быстро, жадно, наощупь.

Мебель составляла всё их богатство. Кровать с плотным деревянным настилом, на которой Одиль спала, свернувшись клубком, потому что вытянуться в полный рост не позволяла длина — кровать была детской, оставшейся от прежних хозяев. Стол подпёртый с одной стороны обломком кирпича. Печурка, прожжённая в бок, дымившая так, что глаза слезились, а бельё пропахивало гарью насквозь. И шкаф.

Шкаф был другим.

Он стоял у стены, как саркофаг, который забыли закопать. Массивный, дубовый, тёмный до черноты, с резным вензелем на дверце — буквы «Ж» и «Д»,

сплетённые в узел, давно умерших хозяев, чьи имена Одиль не знала и знать не хотела. Шкаф достался ей вместе с комнатой, и поначалу она его боялась — боялась его тяжести, его запаха, его нутра, в котором, казалось, что-то живёт. Но со временем страх прошёл. Шкаф стал частью пейзажа, как любая природная часть дает нам красоту пространства.

А потом стал частью жизни.

Элиз исполнилось два года — или около того, Одиль не вела счёт месяцам. Она научилась сидеть, если её прислоняли к подушке, и это была победа, большая, как взятие крепости. Сидя, Элиз могла смотреть на мир не снизу вверх, а прямо, и мир становился шире: мамино лицо, печурка, окно под потолком, край стола. Она всё так же не говорила — только мычала, только гудела, — но Одиль научилась различать оттенки этого гудения, как различают оттенки серого в пасмурный день. Голодное гудение было низким и долгим. Довольное — коротким, почти музыкальным. Испуганное — резким, обрывистым, как кашель.

В тот день Элиз гудела довольно. Она сидела, привалившись спиной к подушке, и смотрела, как Одиль крошит в миску чёрствый хлеб и вчерашний картофель —

обед, ужин, завтрак, всё в одном. Солнце как раз добралось до окна, и по полу протянулась косая полоса света, золотая, пыльная, тёплая. Элиз протянула к ней руку — медленно, неуверенно, пальцы скрючены, но тянутся, тянутся к теплу.

И тогда Одиль услышала шаги.

Они поднимались по лестнице — тяжёлые, с металлическим стуком, который бывает только у сапог с подковами. Солдат. Тот самый, что заплатил несколько монет в прошлый раз и обещал прийти снова. Одиль замерла с миской в руках.

Вынести Элиз в подвал? Холодно, сыро, и главное — она закричит, нет, не закричит, а загудит, но это гудение всё равно услышат, и тогда — что? Что будет, если солдат увидит ребёнка? Если расскажет кому-то? Если захочет посмотреть? Одиль слишком хорошо знала, что бывает с больными девочками в этом квартале, когда поблизости нет никого, кто мог бы заступиться. Соседки? Соседки первые плюнут вслед.

Она метнулась к шкафу.

Дверца открылась с глухим стоном — дерево тёрлось о дерево, звук был низкий, утробный. Внутри пахло старым дубом и лавандой — Одиль держала там пучок сушёной травы от моли, и запах въелся в дерево намертво. Она выхватила из угла охапку тряпок, старых юбок, рваных, но

чистых, и принялась стелить их на дно шкафа — быстро, судорожно, как стелют постель перед родами.

Шаги приближались.

Одиль схватила Элиз с кровати — та была лёгкой, почти невесомой, кожа да кости, — и посадила в шкаф, на тряпки. Подушку — туда же, под спину. Элиз смотрела на мать круглыми глазами и не гудела, не плакала, только смотрела, и в этом взгляде было что-то недетское, что-то понимающее, что-то, от чего у Одиль сжалось сердце.

— Мышонок мой, — зашептала она, поправляя тряпки вокруг дочери. — Послушай. Сейчас ты должна сидеть тихо, как камушек. Как камушек на дне реки. Ни звука. Мама скоро-скоро откроет дверку. Там будет темно, но я буду здесь. Я всегда здесь. Слышишь?

Элиз моргнула. Один раз. «Да».

Одиль закрыла дверцу — неплотно, оставив щель шириной в два пальца. Воздух должен ходить. Воздух — это главное. Воздух и тишина.

Стук в дверь раздался одновременно с тем, как она выдохнула.

Солдат вошёл, заполнив комнату запахом табака, кислого вина и давно не мытого тела. Он был молод, но уже обрюзг, и глаза его бегали по комнате, точно что-то искали

— не женщину, женщина стояла перед ним, — а что-то ещё, что можно было бы взять, унести, продать.

— Что у тебя там? — спросил он, кивая на шкаф.

— Тряпье, — ответила Одиль, и голос её был спокойным, как вода в колодце. — Старое тряпье. Мыши погрызли, воняет. Не открывай, задохнёшься.

Солдат хмыкнул и больше не спрашивал. Одиль знала: мужчины этого сорта не любят сложностей. Они приходят за простым — за телом, за теплом, за несколькими минутами власти над тем, кто не может ответить. И она давала им это — механически, отстранённо, думая о своём. О шкафе. О том, хватает ли воздуха. О том, не замёрзла ли мышонок. О том, сколько ещё минут осталось.

Когда солдат ушёл, бросив на стол горсть медяков, Одиль не сразу бросилась к шкафу. Сначала она выдохнула. Потом налила в миску воды и вымыла руки — долго, тщательно, как хирург после операции. И только потом открыла дверцу.

Элиз сидела тихо. В щель падал свет, и она смотрела на него, не мигая. Когда дверца открылась, она подняла

глаза на мать и издала короткое, довольное гудение. Как будто ничего не случилось.

Одиль взяла её на руки, прижала к груди, и сердце колотилось так, что, казалось, его слышно на всю улицу.

— Вот и славно, — прошептала она в макушку дочери. — Вот и умница. Ты мой герой, мышонок. Ты мой самый главный герой.

С этого дня шкаф стал ритуальным местом.

Одиль обила его изнутри оставшимися лоскутами — ситцевыми, шерстяными, какими нашлись. Стало мягче. Теплее. Она положила внутрь тряпичную куклу — ту, что сшила сама долгими вечерами, когда клиентов не было: тело из старого чулка, глаза-пуговицы, рот вышит красной ниткой криво, но старательно. Кукла пахла лавандой, как и всё в шкафу, и Элиз прижимала её к себе обеими скрюченными ручками, когда сидела в темноте.

Для Элиз запах старого дерева и лаванды стал запахом безопасности. Она не боялась шкафа. Шкаф был её вторым телом — тёплым, тёмным, надёжным. Шкаф не предавал. Шкаф не шептался за спиной. Шкаф просто ждал, когда мама откроет дверцу, и впускал свет.

А Одиль каждый раз, закрывая дверцу, повторяла одни и те же слова — как молитву, как заклинание, как единственное, что держало этот мир от падения в бездну:

— Я здесь. Я всегда здесь.

И дерево отвечало ей молчанием, которое было милее любых обещаний.

Запись вторая

Вот и случилось то, о чём я не думала в первую ночь. Тогда я просто держала её за руку и обещала быть её ногами. Теперь я прячу её в шкаф.

Говорят: «С глаз долой — из сердца вон». Неправда. Именно там, в темноте, она ближе всего к сердцу. Я закрываю дверцу и оставляю щель — не для воздуха, для себя. Чтобы знать: она дышит. Чтобы слышать её молчание. Оно звучит громче любого крика.

Страх не ушёл. Он просто стал другой масти. Раньше я боялась, что она умрёт. Теперь — что её найдут. Обидят. Отнимут. Я смотрю на мужчин, которые входят в эту дверь, и каждой клеткой тела знаю: их мир не для неё. Их мир — это сапоги с подковами и руки, которые берут, не спрашивая.

И я делаю единственное, что могу: я строю ей дом внутри шкафа. Обиваю стены тряпками. Кладу куклу с глазами-пуговицами. Прячу в углу пучок лаванды. Пусть её мир пахнет не табаком, а полем. Пусть её темнота будет теплее, чем мой свет.

Когда я открываю дверцу, она смотрит на меня. Не с укором. Не со страхом. С доверием. И в этом доверии — вся моя мука и всё моё спасение. Она не осуждает меня. Она ждёт. Она верит. Она любит.

Я не знаю, что чувствует мать, которая укладывает дитя в колыбель с балдахином и поёт колыбельную. Я знаю, что чувствует мать, которая стелет тряпки на дно шкафа и шепчет: «Сиди тихо, как камушек». Это неправильно. Это всё неправильно.

Но когда я открываю дверцу и вижу её глаза — живые, ясные, всё понимающие, — я знаю: мы связаны не кровью. Мы связаны тишиной. Той тишиной, что глубже всех молитв. И я выбираю её. Каждый раз — её.

Одиль.

Глава 1.3 Механика греха

Элиз, 5—13 лет

Мир Элиз состоял из звуков.

Она не могла ходить — ноги не слушались, позвоночник гнулся не туда, и тело было не столько телом, сколько непослушным мешком с костями, который приходилось таскать с места на место. Она не могла говорить — язык жил своей жизнью, гортань издавала лишь мычание разной высоты и тембра, и только мать понимала эти звуки, как понимают язык птиц или шум дождя. Но слышать Элиз могла. Слышать она научилась так, как не слышит никто из ходячих и говорящих.

Каждый звук имел вес, цвет и вкус.

Скрип входной двери — низкий, протяжный, с железным присвистом — означал, что пришёл чужой. Этот звук был солёным на вкус и тяжёлым, как мокрое одеяло. Шаги различались по ритму и силе: солдаты ступали тяжело, с металлическим стуком подков, матросы — вразвалку, точно палуба всё ещё качалась под ногами, лавочники — мелко и быстро, словно боялись опоздать на собственную сделку. Элиз знала каждого завсегдатая по походке ещё до того, как он открывал рот.

А потом открывался рот — и начинались голоса.

Мамин голос — быстрый, деловой, чуть выше обычного. Элиз слышала, как мать перестраивается за секунду до того, как открыть дверь: вот она только что сидела у печурки, помещивая похлёбку, и вдруг — распрямляются плечи, вскидывается подбородок, и голос становится звонким, почти весёлым. «Заходи, чего встал. Давай сюда, не тяни». Это был не голос Одиль. Это был голос другой женщины — той, которую Одиль создала, как создают голема из глины, чтобы он принимал удары вместо неё.

Мужские голоса были разными, но все — с одной нотой, низкой, влажной, как земля после дождя. Одни говорили мало — бросали пару слов и сразу переходили к делу. Другие, наоборот, тянули, расспрашивали, и тогда мамин голос становился ещё быстрее, ещё звонче, он забивал паузы, как забивают щели паклей, чтобы не дуло. Третьи переходили на шёпот — и этот шёпот был хуже всего. Шёпот означал, что человек стыдится того, что делает, но всё равно делает, и от этого стыда становится злее.

А потом начинался ритм.

Кровать скрипела мерно, с присвистом, и этот скрип имел свой ритм — то частый и злой, то медленный и тяжёлый, то вовсе затихающий. В тишине было слышно дыхание — мамино, ровное, почти спокойное, и чужое, хриплое, с присвистом. Иногда мужчина стонал или выкрикивал что-то неразборчивое, и тогда Элиз зажмуривалась, хотя в шкафу всё равно было темно.

Финалом всегда был звук монет.

Медь падала на стол с глухим стуком — одна, две, три. Иногда серебро — тогда звук был выше, чище, почти музыкальный. Элиз ненавидела этот звук и одновременно любила его. Потому что он означал: всё кончилось. Сейчас откроется дверца.

Шкаф был её кельей, её норой, её наблюдательным пунктом. Через щель шириной в два пальца проникала полоска света — жёлтого, если горела свеча, серого, если дело было днём. В эту щель Элиз видела фрагменты мира: как мать поправляет чулок, натягивая его на бедро быстрым, отработанным движением. Как мелькает чужой сапог — грубый, стоптанный,

с налипшей грязью. Иногда в кадр попадала мужская рука — волосатая, с грязными ногтями, кладущая монеты на стол. Лиц она почти не видела. Лица оставались за пределами кадра, и это было к лучшему.

Запахи говорили больше, чем зрение.

Каждый мужчина приносил свой запах, и Элиз научилась их различать, как сомелье различает сорта вина. Пот, табак, кислое вино — это был основной аккорд, базовая нота почти каждого визита. Поверх неё наслаивались другие: запах лошадей и сена — извозчик. Запах рыбы и соли — матрос. Запах воска и ладана — церковный служака, который после всегда плакал и просил прощения у Бога, но приходил снова. Запах кожи и металла

— солдат. Запах муки и дрожжей — пекарь, самый тихий и самый стыдливый, оставлявший на столе ровно столько, сколько было условлено, и никогда не торговавшийся.

И надо всеми этими запахами, перебивая их, смягчая, обволакивая — лаванда. Сухие цветы, зашитые в тряпичный мешочек, который Одиль положила в шкаф ещё в первый год. Лаванда пахла безопасностью. Лаванда пахла мамой — той, настоящей, а не той, что говорила звонким голосом «заходи, чего встал».

Когда дверь за клиентом закрывалась, наступал ритуал.

Одиль никогда не бросалась к шкафу сразу. Сначала она выдыхала — долгий, протяжный выдох, в котором было больше усталости, чем во всей её жизни. Потом шла к умывальнику — простая миска с холодной водой, — и мыла

руки. Тщательно, долго, очень долго. Иногда она мыла лицо. Иногда — шею и плечи. Вода стекала на пол, и Элиз слышала, как капли разбиваются о доски.

Только потом открывалась дверца.

— Ну, мышонок, — говорила Одиль, и голос её был уже настоящим, уставшим, низким, — сегодня будет суп с капустой. Видишь, какой господин щедрый попался?

Она деловито вытаскивала Элиз из шкафа, усаживала обратно на подушки, поправляла одеяло. В её движениях не было ни стыда, ни сожаления — только будничная деловитость женщины, которая сделала работу. Она рассказывала Элиз о клиентах, как о погоде: этот был тяжёлый, этот — почти невесомый, этот торговался, как на рынке, а этот заплатил и ушёл молча.

Это был их общий быт. Их общая тайна. Их общая работа по выживанию.

Язык у них был свой.

Одно мычание — «да». Два — «нет». Длинное, протяжное гудение — «я здесь». Короткое, отрывистое —

«больно». Моргнуть дважды — «я тебя люблю». Моргнуть трижды — «мне страшно».

Одиль называла этот язык телеграфом — она где-то слышала про такую штуку, близ Парижа, которая передаёт сигналы оптическим путем, и слово ей понравилось.

— Ты мой телеграф, мышонок, — говорила она, растирая Элиз скрюченные пальцы. — Без тебя я бы тут с ума сошла. Ты меня держишь. Ты — мой провод к Богу.

Элиз не знала, кто такой Бог. Она знала только шкаф, лаванду и мамин голос. Этого было достаточно.

Опасность пришла на восьмом году.

Клиент был новый — Одиль не знала его, и это сразу насторожило. Он вошёл не как другие: не спешил, не суетился, не отводил глаз. Он осматривал комнату медленно, по-хозяйски, и глаза у него были цепкие, как рыболовные крючки.

— А что там? — спросил он, кивая на шкаф.

Элиз внутри шкафа замерла. Она слышала этот вопрос впервые.

— Ничего, — ответила Одиль, и голос её был ровным, как натянутая струна. — Крысы. Скребутся. Не отвлекайся.

Клиент хмыкнул, но больше не спрашивал. Однако после его ухода Одиль долго сидела на кровати, глядя на шкаф, и лицо её было таким, каким Элиз его ещё не видела. Страх — вот что это было. Чистый, незамутнённый страх.

С этого дня перед приходом клиентов Одиль ставила перед шкафом ведро с грязной водой и тряпку. Грязная вода отпугивала лучше всякого замка. Никто не хотел пачкаться. Никто не подходил к шкафу.

Элиз росла. Ей исполнилось десять. Тело вытянулось, стало почти девичьим, и опасность росла вместе с телом. Одиль знала: мир, в котором они жили, не щадил калек. Девочку-инвалида могли изнасиловать просто потому, что она не могла убежать. Просто потому, что она не могла закричать. Просто потому, что её мать была

«гулящей», а значит, и дочь — законная добыча. Таков был закон улицы, древний и неоспоримый, как закон тяготения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.